

О коллегах-ученых

<http://oralhistory.ru/talks/orh-834>

2 января 1982

Собеседник

Юшкевич Адольф Павлович

Ведущий

Тейдер Валентина Федоровна

Дата записи

Беседа записана 2 января 1982 и опубликована 6 апреля 2017.

Введение

Во второй и завершающей беседе историк математики Адольф Юшкевич снова вспоминает своих коллег. О ректоре МГУ Иване Петровском он говорит как о человеке необыкновенно любезном и воспитанном, Николай Вавилов запомнился ему своей принципиальностью и справедливостью, а Лазарь Люстерник, воспоминания которого мы уже публиковали — стихотворными пародиями на участников научного процесса того времени. В беседе снова упоминается трагедии математика Николая Лузина и судьбы его учеников.

К сожалению, звук беседы сохранился не полностью. Обрывы и провалы отмечены в тексте, а пропущенные части беседы кратко пересказаны ее ведущей.

Адольф Павлович Юшкевич: Относительно годов моего учения.

Валентина Федоровна Тейдер: Да, в гимназии.

А.Ю.: В гимназии. Я начал учиться еще в Петрограде, в гимназии Мая*. Это была одна из самых прогрессивных средних школ тогдашней столицы, да, может быть, и всей страны. В ней учились многие гораздо более знаменитые, чем я, люди, и, в частности, из нее вышли многие представители художественного мира, о ней вспоминается в мемуарах представителей «Мира искусства». Проучился я там недолго, но сумел почувствовать дух этой гимназии. Например, в первом классе нам предоставляли возможность выступить с собственными докладами, хотя мы были всего лишь начинающими, позади нас были только годы пригготовительных классов. И вот, в частности, в то время широкой известностью пользовались всякого рода популярные книги по естествознанию Лункевича, а также Меча, и я помню, что нужно было заменить урок какой-то — мне было предложено сделать доклад или рассказать об одной из таких книжек.

* Петербургская школа Карла Мая — учебное заведение Санкт-Петербурга, основанное в 1856 году Карлом Ивановичем Маем, который делал упор в подходе к образованию на взаимное уважение, доверие и индивидуальный подход к ученикам.

Я, к сожалению, не помню ни имени, ни отчества, ни фамилии нашего классного наставника, который так умело руководил нами, но осталось у меня в целом самое приятное воспоминание об этом времени. Я там был сперва в пригготовительных классах, потом в первом классе. Я помню очень радостное чувство после окончания пригготовительных классов, когда нам разрешили впредь являться без какого-то специального такого халатика, который мы обязаны были одевать в школе. Мы вышли в последний день учения в пригготовительных классах из помещения, скинули эти формочки, которые нам опротивели, и чувствовали себя уже вступившими в новую жизнь.

Летом или ближе к осени 1917 года нам пришлось переехать в Одессу из-за тяжелой болезни матери и невозможности спокойно обеспечить жизнь в тогдашнем Петрограде: начинало не хватать продовольствия, а мать заниматься этими домашними делами уже была не в состоянии. Мы решили на несколько месяцев... вернее, отец решил на несколько месяцев поехать в Одессу. Эти несколько месяцев растянулись на пять лет: мы вернулись — и уже не в Петроград, а в Москву — осенью 1922 года. Вот в Одессе я продолжал сперва учение в гимназии, во втором классе.

В.Т.: Простите, пожалуйста, Адольф Павлович, а, возвращаясь к петербургской гимназии, вы в 16-м году там были, да?

А.Ю.: Я был там с 15-го по 17-й год: пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый.

В.Т.: А вы не вспомните никаких учителей?

А.Ю.: Нет, я не помню их имен, все-таки это было очень давно и кратковременно. Вот, а в Одессе я поступил во второй класс Второй гимназии. Ну, тут уже была несколько другая обстановка. Во-первых, она была более официальная, гимназия не отличалась никакими особенно прогрессивными качествами, а кроме того, на занятиях отражалась непрерывная смена властей: их в Одессе переменялось около десятка до окончательного укрепления советской власти. И вот то, значит, появлялись украинцы (или Рада, или гетман Скоропадский — я уже не помню, кто), и нас обучали в течение нескольких месяцев украинскому языку. Потом это бросали. Затем учителя сменялись: появлялись одни — исчезали вскоре, потом заменяли их другие — в общем, уже была эпоха какого-то беспорядка.

Проучился я еще один год в гимназии, а потом, по-моему, перешел в третий класс и там некоторое время учился. А дальше произошли уже полные перемены, потому что, когда в 20-м году советская власть прочно овладела всем югом страны, гимназии были заменены едиными трудовыми школами, в которых порядок в то время тоже еще не был наведен. Программы от школы к школе менялись, и, кроме того, они плохо осуществлялись. Нам ввели обществоведение, общественные науки, это было довольно занятно, конечно, но зато ослабло изучение иностранных языков, по-моему, и с математикой стало не так хорошо. Кроме того, учителя очень бедствовали, им было трудно. В общем, в гимназии бывшей уже царил

ералаш, и совершенно все было бессистемным.

Правда, нам, школьникам, все это было очень занято, потому что нам предоставили самоорганизоваться, выбирать школьные комитеты, и эти школьные комитеты чувствовали себя в некоторой мере властью в своей школе, потому что, нечего скрывать, продовольственное положение было крайне затруднительное, а школьников кое-как кормили. Вот, и я хорошо помню, как мы отправлялись с целыми ведрами на палках, которые несли в руках, значит, с двух концов, за супом, пшенной кашей, потом нам в мешки накладывали хлеб — мы все это приносили в гимназию. И, по доброте своей сердечной и душевной, мы могли кормить учителей, учителя оказались до некоторой степени от нас в зависимости. И это, несомненно, накладывало некоторую печать на взаимные отношения: какую-то требовательность предъявлять к ребятам...

В.Т.: ...которые кормят...

А.Ю.: ...у которых получаешь не во вполне, так сказать, узаконенном порядке продовольствие, было для учителей затруднительным. Я был председателем как раз школьного комитета.

Пропуск в записи. Комментарий В.Ф. Тейдер: По техническим причинам запись очень некачественная, поэтому периодически приходится прерывать перезапись и делать небольшой комментарий. В данном случае речь идет о поступлении Адольфа Павловича в Московский университет. При поступлении ему было предложено написать сочинение на тему «Мое социальное происхождение». Речь идет дальше о сочинении на эту тему.

Тема была такая: «Ваше социальное происхождение». Вот. Может, она называлась как-то иначе, но, в общем, речь шла о том, что надо было рассказать о том, кто мой отец и кто моя мать, скорее носила такой анкетный характер. Ну, я написал, что мой отец пролетарий умственного труда, потому что он был журналистом, литератором, философом. Это, кажется, там не понравилось, потому что меня за это упрекали потом. Ну, ничего, все равно меня благополучно приняли, и я осенью 23-го года начал свои занятия в университете, о которых, кажется, уже кое-что я рассказывал.

Вот теперь, значит, на этом я поставлю точку, на этом пункте, и я вспоминаю, что в прошлый раз* я обещал рассказать кое-что о встречах с некоторыми деятелями университета и Академии наук — в частности, об Иване Георгиевиче Петровском и о Сергее Ивановиче Вавилове.

О Иване Георгиевиче Петровском

Так вот, об Иване Георгиевиче Петровском. Я ведь с ним, собственно говоря, был знаком очень-очень мало. Он был несколько старше меня, даже заметно старше меня, он уже заканчивал свое обучение, а может быть, даже был аспирантом, когда я поступил.

И я помню только общее впечатление худощавого студента, не очень хорошо одетого, в сапогах, расхаживающего по коридорам и беседующего неизвестно мне о чем с профессором Егоровым.

Я теперь могу догадываться, что они говорили на темы, относящиеся к теории дифференциальных уравнений или к теории интегральных уравнений, — к тематике, которая занимала Ивана Георгиевича впоследствии главным образом на протяжении его жизни, и тематике, которая была близка Дмитрию Федоровичу. Ну, вот это был один из тех студентов, которых мы видели часто на прогулках в коридоре между лекциями беседующими с Егоровым, которого мы побаивались, и, разумеется, этот студент в наших глазах был фигурой весьма авторитетной.

Впоследствии, когда Иван Георгиевич стал деканом факультета, это было незадолго перед войной, перед Второй мировой войной... он был деканом факультета, а правительство решило организовать университетский юбилей. Ну, дата была выбрана довольно произвольная и даже странная: сто восемьдесят пять лет со времени основания университета. Но так или иначе решение было принято,

и к этому надо было готовиться, и, значит, надо было писать историю университета по факультетно. И вот я помню беседы с Иваном Георгиевичем, который привлекал историков математики, а их тогда было очень мало, к данному делу.

В университете работал семинар Софьи Александровны Яновской и Марка Яковлевича Выгодского по истории математики. Он организовался, кажется, в 1933 году, и я был его довольно регулярным посетителем, хотя в то время преподавал в Московском высшем техническом училище. Вот Иван Георгиевич, значит, связался с этим семинаром, он приходил на некоторые его заседания, и Вячеслав Васильевич Степанов также принимал в этом деле участие и приходил, и работа была распределена. Мне, в частности, было поручено написать такой раздел – «Математика в Московском университете за первые сто лет его существования». Вот. Ну, конечно, за первые сто лет существования в Московском университете математика еще развилась не в очень большой степени, но к концу этого времени из Московского университета уже вышел знаменитый Чебышёв, очень хороший математик, и механик Сомов, некоторые другие лица, не столь знаменитые и не столь замечательные.

Значит, постепенно дело шло вперед. Конечно, в первой половине этого столетия дело было значительно хуже, потому что еще лекции по высшей математике вообще не читались, но, когда была проведена реформа всего образования в начале XIX века, при Александре I, в которой приняли участие видные математики — ученики Эйлера, появились в университете гораздо большие, так сказать, возможности для разворачивания физико-математического образования. Тогда впервые в университете появился физико-математический факультет, и там стали читаться лекции уже и по различным разделам высшей математики. Так что первые 50 лет были довольно слабо для математики пригодными, а во второй половине началось уже движение вперед. Вот мне надо было написать об этом статью, я такую статью и написал.

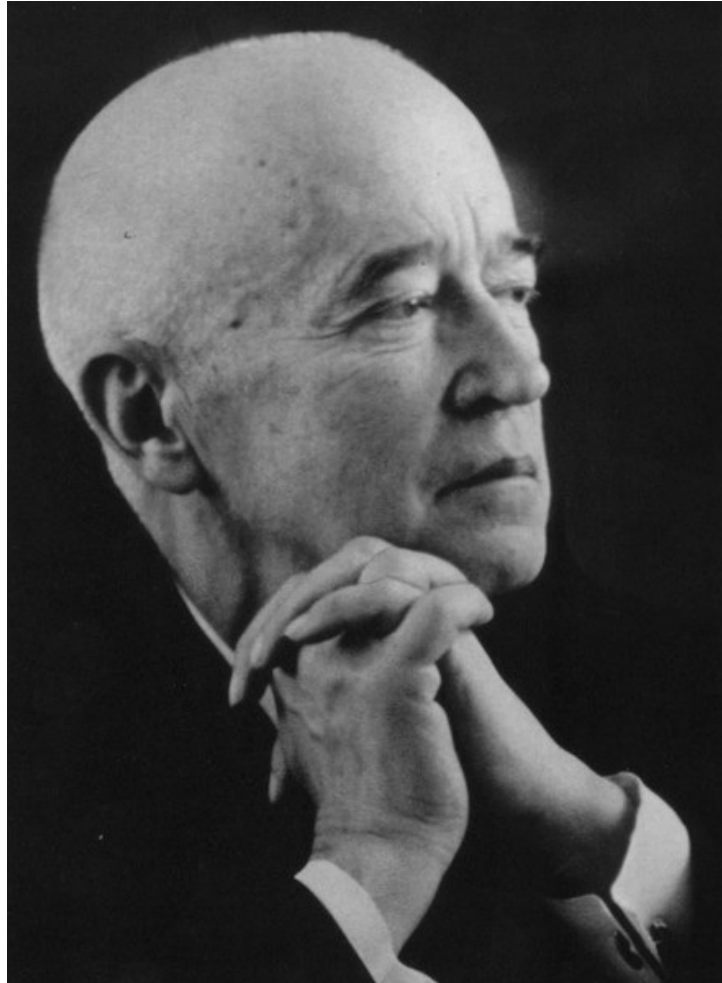
Я помню, что на заседание семинара, где я рассказывал содержание своего текста, уже готового, пришел Вячеслав Васильевич Степанов. Он очень был удивлен, узнав, что, оказывается, за первые пятьдесят лет вообще ничего не было сделано в этой области, а за вторые была только подготовлена почва, и несколько видных профессоров: там, Брашман, Зёрнов и другие — воспитали людей таких вот, как Сомов, немножко старший, и Чебышёв, несколько младший, но гораздо более одаренный. Он тогда спрашивал: «Неужели это все, что было?» Я говорю.: «Да, вот все, что я могу рассказать».

Тут были и некоторые комические случаи. И так как все это будет прочитано не очень скоро — то, что я рассказываю, — то я позволю себе такое забавное отступление. Рассказывая еще о временах XVIII века, я упомянул — это по архивным данным, все это я собирал материалы, — что в характеристике какого-то кандидата в профессора было сказано, что он человек серьезный и трезвый. Ну, теперь казалось, конечно, странным, что в характеристике будущего профессора отмечалось его отношение к алкогольным напиткам, — тогда это, видимо, было естественно. Это всех очень рассмешило. Рассмешило, а потом стали даже думать, удобно ли об этом вспоминать. Я сказал, что, по-моему, вполне удобно. А мне в ответ сказали: «Но ведь у нас же вот такой-то, N.N., пьет, бывает, и другой, скажем, Y.Z., тоже выпивает, так не примут ли это они на свой счет?» Ну, я сказал, что «не знаю, как вы хотите, можете исключить этот маленький текст. Я рассказал это как анекдот XVIII века, а что теперешние некоторые люди иногда пьют — ну, подумаешь, какая важность».

Были написаны и другие статьи. Марк Яковлевич написал, Выгодский, статью о начале Математического общества и первых десятилетиях его деятельности, об организации «Математического сборника». Было еще кое-что подготовлено. А тут грянула война, и то, что уже было даже в наборе (а оно уже было в наборе, в корректуре), увидеть света не смогло. Тем не менее, все это не пропало даром, потому что после войны, когда семинар по истории математики, в это время руководимый уже Яновской и мною, решил издавать свои труды, в первом томе этих трудов — они назывались «Историко-математические исследования», и они продолжают выходить до сих пор — были помещены статьи «Из истории Московского университета». И моя статья, и статья Выгодского, и, кроме того, предшествовавшая им статья о математике в Московском университете в эпоху советской уже власти, которую написали совместно, насколько я помню, Вячеслав Васильевич Степанов, Павел Сергеевич Александров и Борис

Владимирович Гнеденко (я думаю, я назвал всех авторов)

Вот это была, значит, уже некоторая деловая встреча с Иваном Георгиевичем Петровским, который всем этим живо интересовался, и спрашивал, как идут дела, и читал все это, и тоже несколько удивлялся тому, как обстояло дело при его далеких предшественниках. И, собственно, на этом мои деловые отношения с Иваном Георгиевичем закончились.



Иван Георгиевич Петровский

После этого я его встречал несколько раз. Один раз это было связано с международным математическим конгрессом в Москве, когда он любезно предложил мне сделать заказной получасовой доклад по истории математики — о работах в области истории математики народов Востока. Это показывает, как мне кажется просто, что Иван Георгиевич интересовался историей математики в той мере, в какой ему позволяло время, бесконечно перегруженное и научной работой, и особенно тогда административной, ибо он был долголетним ректором университета и как раз в это время была у него, несомненно, масса дел. Вот, я этот доклад потом сделал на конгрессе. А затем мне приходилось с ним иметь дело по некоторым частным вопросам.

Вот одна такая частная беседа у меня с ним была по следующему поводу. Существует Международная академия истории науки. Я в ней состоял, и я считал своей обязанностью, по возможности, проводить туда, в сочлены этого международного научного общества, достойных, разумеется, того советских ученых. У меня были хорошие связи с другими членами этой Академии, и я намеревался рекомендовать двух человек тогда. Одним из них был Александр Осипович Гельфонд, мой друг, знаменитый своими работами

по теории чисел, я о нем рассказывал в прошлый раз, а другим была Изабелла Григорьевна Башмакова. Она историк математики, теперь она профессор в университете; в то время она еще профессором не была, но уже, так сказать, выдвигалась на передний план.

Вот мне хотелось их обоих предложить в качестве кандидатов на занятие сперва член-корреспондентских мест, потому что сперва надо было стать членом-корреспондентом этой Международной академии, а впоследствии и профессорских. Ну, а для того, чтоб это сделать, мне нужно было согласие Ивана Георгиевича. Вот, значит, я ему позвонил по телефону, он очень любезно меня принял, и мне очень понравилась та манера, в которой проходил прием. Он встал из-за стола, он пошел к двери, куда я входил, навстречу, любезно поздоровался, пригласил сесть, внимательно все выслушал, очень одобрительно отозвался о моем намерении и дал, ну, устное полное согласие на выдвижение обеих кандидатур, которые впоследствии благополучно и были одобрены голосованием. Оба они стали тогда членами-корреспондентами Международной академии. Впоследствии Гельфонд, вскоре довольно скончался, а вот Изабелла Григорьевна потом была избрана и действительным членом этой Академии. Вот так, это был разговор не слишком длинный с Иваном Георгиевичем, но меня поразила его необыкновенная любезность и, я бы сказал, такая воспитанность. Он меня, когда я уходил, опять-таки проводил до двери. В конце концов, это было совершенно не обязательно, и мне приходилось иметь дело с менее крупными учеными и менее крупными административными деятелями, которые такой изысканной вежливостью манер не отличались. К сожалению, да, — или хорошо, если с точки зрения (*смеется*) траты времени, я не знаю. Я думаю, что к сожалению.

В.Т.: Да, конечно.

А.Ю.: Вот. К сказанному я могу только добавить, что, как мне говорили, в библиотеке Ивана Георгиевича (она же сохранилась) имеется довольно большое количество книг по истории математики. Вместе с тем мне известно, что Иван Георгиевич, при всем уважении к этому предмету, считал, что это курс, который в университете должен быть факультативным, а не обязательным, и он своею властью исключил его из списка обязательных курсов, предоставив его читать факультативно. Когда он скончался, удалось заинтересованным лицам вновь включить этот курс в число обязательных.

Лично я думаю так. Аргументация была довольно солидная: мы же теперь исключили теорию чисел, например, мы исключили еще некоторые предметы, студенты перегружены — ну, кто хочет, пусть занимается историей математики, а уже время на это тратить обязательное и включать в число экзаменов мы не можем. Такова была аргументация. Я думаю, что эта аргументация все же имела свои основания. Я историк математики, я очень люблю этот предмет, я желаю ему всякого преуспевания, но я полагаю, что в университетах жертвовать математическими предметами в пользу истории математики не обязательно и что здесь этот курс мог бы оставаться факультативным. А вот насчет педагогических институтов — тут я держусь другого мнения. К сожалению, здесь этот курс не является обязательным, а вот он, по-моему, для будущих учителей совершенно необходим. Но пока что это дело реализовать еще не удается.

О Сергее Ивановиче Вавилов

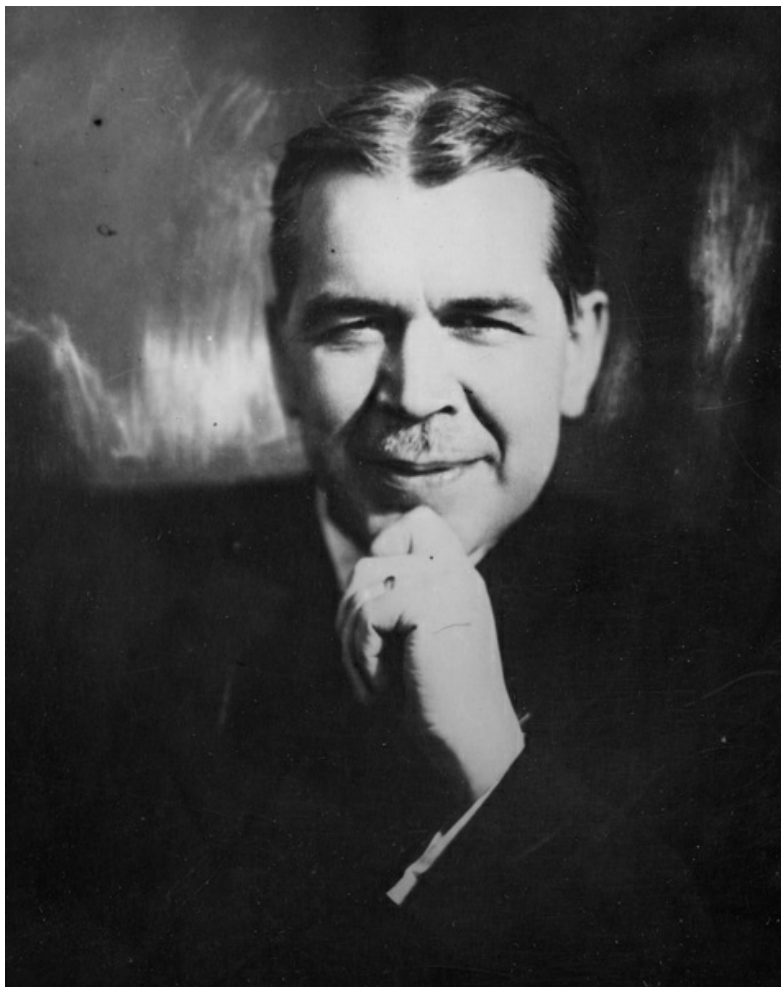
Перехожу к встречам с Сергеем Ивановичем Вавиловым. Ну, как известно, это был крупный физик, человек необыкновенно широкого образования, в том числе и гуманитарного, хорошо знавший латынь, а не только новые иностранные языки, человек, чрезвычайно интересовавшийся историей науки вообще, физики — в особенности, и специально — историей Академии наук. Он был членом комиссии по истории физико-математических наук при Президиуме Академии — он очень, вообще говоря, сочувственно относился к работам в этой сфере, — а когда скончался Алексей Николаевич Крылов, бывший долгое время председателем комиссии, он стал ее председателем. Вот, кажется, на этой почве мне и пришлось с ним начать встречаться. Заседания комиссии проходили в Ленинграде, хотя Академия уже находилась в Москве в своей главной части. Заседания комиссии проходили довольно регулярно — я не помню,

с какой частотой, раз ли в две недели или раз в месяц, — когда Сергей Иванович приезжал в Ленинград.

В них принимали участие — я помню не всех участников, но из таких достаточно известных лиц — Владимир Иванович Смирнов, тогда член-корреспондент, а впоследствии академик, Торичан Павлович Кравец, член-корреспондент (Смирнов был математиком, Кравец — физиком), профессор астрономии Наум Ильич Идельсон и еще некоторые лица. Мне кажется, Родион Осипович Кузьмин приходил, член-корреспондент Академии. А секретарем был Моисей... Моисей Израилевич, кажется, его звали, Радовский, чрезвычайно активный организатор. Он помогал Сергею Ивановичу и как секретарь этой комиссии, и затем помогал Сергею Ивановичу Вавилову также в издании серии «Классиков науки», в то время начатой.

Вот, я помню, меня несколько раз приглашали с докладами на эти заседания. В частности, я там докладывал о работах Ньютона по алгебре, работах Декарта и некоторых других. И мои поездки в Ленинград не только оставили в моей памяти очень яркий след, потому что заседания шли очень интересно, сам Сергей Иванович всегда очень заинтересованно и внимательно слушал, задавал многие вопросы, было ясно, что все это его действительно трогает, но он и выступал также со своими замечаниями очень ценными. И вот, я помню, он тогда предложил издать «Всеобщую арифметику» Ньютона и предложил *мне* сделать перевод этой книги с латыни. Через некоторое время — ну, правда, через порядочное время — книга эта вышла из печати.

Встречи в основном происходили на заседаниях этой комиссии. Там меня, значит, приятно радовала изысканная опять-таки вежливость манер, в несколько иной форме, может быть, чем у Ивана Георгиевича Петровского, но изысканная вежливость манер, предупредительность, внимание, а с другой стороны, — глубокая эрудиция Сергея Ивановича. В то время уже существовал Институт истории естествознания (тогда он именно назывался так, как я сказал, — теперь он называется: Институт истории естествознания и техники), и Сергей Иванович относился к нему весьма благожелательно, как президент всячески содействовал его успехам.



Сергей Иванович Вавилов


По-моему, в 1949-м или 50-м году, незадолго до смерти Сергея Ивановича, была организована в Ленинграде специальная большая такая всесоюзная конференция по истории науки. При ней была секция по истории математики, где я делал доклад. Сам Сергей Иванович выступал с основным докладом там, насколько я помню. Снова здесь имели место встречи.

Деловых других контактов у меня с Сергеем Ивановичем было не очень много. Ну, вот я скажу о немногих, которые я считаю подходяще вспомнить. Сергей Иванович в то время писал, или, вернее, готовил к изданию, «Оптические лекции» Ньютона, и у него возникали иногда некоторые историко-математические вопросы. Институт наш тогда занимал всего две комнатки на улице Фрунзе, в помещении бывшем Библиотеки общественных наук. И, собственно, собирались мы в одной комнате: там был и телефон, и стол директора, и стол ученого секретаря — у нас была вообще очень маленькая еще группа. Директором тогда был, мне кажется, покойный член-корреспондент Коштоянц Хачатур Сергеевич, а заместителем директора был Николай Александрович Фигуровский, о котором мне придется еще сказать несколько слов.

Вот. Фигуровский относился ко мне, как мне представляется до сих пор, не очень дружелюбно, по причинам, которые я могу оставить на его личной совести и которые я объяснять даже и для потомства не желаю. Это он показывал довольно отчетливо. Но все-таки приходилось ему терпеть, как-никак я все-таки был сотрудником. И вот, значит, как-то раз сидим мы все — телефонный звонок. Взял трубку Фигуровский. Он услышал чей-то там голос, встал даже со стула и сказал: «Адольф Павлович Юшкевич? Да,

я сейчас позову». Потом, прикрывши трубку разговорную ладонью, сказал: «Вас к телефону спрашивает Сергей Иванович Вавилов». В комнате наступило абсолютное молчание, все разговоры были прекращены. Фигуровский тоже сел, и все почтительно ждали, что будет дальше. Словом, оказался совершенный пустяк: Сергею Ивановичу нужно было навести какую-то справку, касающуюся одной теоремы Декарта в его «Геометрии», а он знал, что я издавал «Геометрию» Декарта раньше. Ну, и, значит, он ко мне с этой справкой и обратился, потому что ему нужно было в каком-то примечании. Я ему дал быстрый ответ, и все быстро разъяснилось, но после этого разговора, как мне показалось, на некоторое время я несколько вырос в глазах Николая Александровича Фигуровского.

Пожалуй, будет три эпизода. Второй эпизод был следующий. Вышло в связи с юбилеем Ньютона несколько книг о Ньюtone, было трехсотлетие со дня его рождения в 43-м году. Вышел большой томик, даже том, под редакцией Сергея Ивановича Вавилова, вышла биография, написанная Сергеем Ивановичем Вавиловым, и целый ряд других книг. И в «Трудах» этого института я написал такой критический обзор всей литературы, и я позволил себе сделать некоторые критические замечания той характеристики Ньютона, которую давал Сергей Иванович Вавилов. Вавилов настаивал на том, что Ньютон был прежде всего физиком, математика для него была делом второстепенным, вспомогательным средством. Ну, с моей точки зрения, дело обстояло не совсем так.

 **Мне казалось, что математика в глазах Ньютона имела и самостоятельное большое значение и что Ньютон был в равной мере математиком и физиком.**

В общем, вот примерно эти соображения я и высказал, в самой вежливой, конечно, форме, но все-таки в виде некоторого расхождения. Тут, значит, в редакции, или, вернее, в дирекции, произошло некоторое замешательство: как это так, наш сотрудник критикует президента Академии наук. И Коштыянец был встревожен этим обстоятельством, и Фигуровский. Может быть, они боялись за судьбу издания «Трудов». Но я им сказал: «Знаете что, ну, пошлите этот текст Сергею Ивановичу, посмотрим, как он на него отреагирует». И вот, значит, прислали соответствующий текст с его надписью наверху. Я не могу процитировать текстуально, может быть, где-нибудь в архивах она и хранится, но она примерно звучала так, что, значит, рецензент не высшая инстанция, которая решает эти вопросы, но пусть, мол, высказывает свое мнение, какое он хочет. Ну, на этом дело успокоилось, и тогда эта рецензия увидела свет в том виде, в каком я ее дал.

О Торичане Павловиче Кравце

Ну, тут произошла несколько для меня неловкая такая история. Дело в том, что я тогда еще, когда писал рецензию, не был знаком с Торичаном Павловичем Кравцом. Это был образованнейший человек, обаятельнейший человек, но в своей статье о Ньюtone в России в дореволюционное время (так сказать, о ньютоноведении, о влиянии) он допустил несколько фактических неточностей — ну, разумеется, простительных неточностей для человека, который все же был в основном физиком, а не историком науки. А я взял эти неточности так довольно отчетливо и подчеркнуто все выписал в своей рецензии. А потом, когда я познакомился с Торичаном Павловичем Кравцом немного спустя, я подумал: «Боже мой! Зачем я все это сделал? Такой милый, такой образованный, просто обаятельнейший человек. Ну, неужели надо было это сделать в такой недостаточно уважительной форме?» Потому что я просто их перечислил. Надо было как-то найти обороты речи другие, но я этого не выбрал, и меня немножко терзала совесть. Но Торичан Павлович ничуть не обиделся, он, так, преспокойно все это принял, и отношения у меня с ним были самые-самые приятные. И он бывал, когда приезжал в Москву, у меня гостем дома, и, когда я приезжал в Ленинград, я у него бывал. Это был человек исключительно интересный, исключительно памятный. С ним было у меня немало интересных бесед.

Памятью своей он меня просто поражал. Когда в декабре 47-го, кажется, года состоялась первая конференция по истории естествознания (он приехал на нее из Ленинграда, он там проводил одно из заседаний), явилась и села в первом ряду послушать, о чем говорят, Мариэтта Сергеевна Шагинян.

Она очень плохо слышала, сидела со слуховым своим аппаратом, внимательно слушала. В перерыве, значит, там стали прогуливаться по коридору — не помню, где это было, в каком помещении, — и Торичан Павлович подошел к Мариэтте Сергеевне Шагинян, поздоровался с ней, представился и сказал, что «вы-то, конечно, меня не знаете, а я вот знаю ваши стихи уже много-много лет», и он ей прочитал наизусть от начала до конца какое-то стихотворение из какого-то ее сборника, напечатанного в 1915 году. Шагинян была просто поражена, что вот вдруг физик, несколько интересующийся историей науки, вспоминает тридцать примерно пять лет спустя одно из ее первых стихотворений!



Торичан Павлович Кравец

А еще любопытная была у меня беседа с Торичаном Павловичем по другому поводу. У меня одно время возникло желание переехать в Ленинград. Уж очень я люблю этот город, где я провел свои первые одиннадцать лет жизни и который мне до сих пор нравится больше всех других городов мира, вероятно: и больше Москвы, и больше Парижа. Мне просто хотелось там жить. Но для этого надо было, конечно, предпринять немало шагов и сделать немалые усилия: менять квартиру и все прочее, и прочее. Я стал советоваться с Торичаном Павловичем. Он мне сказал: «Вы знаете, я вам не могу этого посоветовать, вам будет очень трудно вжиться в новую среду». Он говорит: «Ленинградцы — они имеют свой характер, несмотря на то, что их перетрясло. Вот вы знаете, ведь я не коренной ленинградец, и вот, когда я приехал...», не помню, откуда, «в 27-м году, то я совершенно отчетливо понял, что я попал в какую-то чужую среду, или, вернее, что я чужой для этой среды. И прошло по крайней мере лет десять, прежде чем меня стали признавать как равноправного сочлена ленинградского сообщества, что называется».

В.Т.: Да, наверно.

А.Ю.: «Ну, — он говорит, — теперь, конечно, много перемешалось, а все-таки Ленинград остается Ленинградом и ленинградцы остаются ленинградцами, и вы, — говорит, — будете довольно долгое время себя чувствовать не в своей компании. Это вас тут любезно принимают — вас принимают любезно как гостя, как москвича. А так вы будете чужаком, поэтому я вам не рекомендую».

В.Т.: И вы послушались его?

А.Ю.: И я послушался его совета. Я потом много ездил в Ленинград, но остался москвичом. Хотя никогда себя настоящим москвичом так и не почувствовал, потому что все-таки во мне слишком много сидит от Ленинграда и, невольно, — от Одессы, где я провел пять лет, выходит, с двенадцати до семнадцати почти.

В.Т.: А родители ваши ленинградцы, петербуржцы, нет?

А.Ю.: Нет-нет, они оба одесситы. Но они жили с 906-го года, когда я родился, в Петербурге.

Ну вот, и третий случай с Сергеем Ивановичем Вавиловым, который свидетельствует о его принципиальности, я бы сказал, и справедливости. И я могу опять-таки это сказать свободно, потому что это будет не очень скоро все, если будет когда-нибудь, известно другим. Дело было в следующем. Я сказал, что ко мне Фигуровский относился не очень хорошо, по причинам, от меня не зависевшим, по своему, так сказать, складу характера. В какой-то мере — в какой-то мере — он, по-видимому, сумел внушить какую-то настороженность и Коштоянцу. Возможно, что он оперировал тем, что мой отец в свое время был подвергнут резкой критике в одном философском труде Ленина (а мой отец принадлежал к махистской группе философов, и в «Материализме и эмпириокритицизме» ему отведено несколько резко отрицательных высказываний). Так или иначе, произошло следующее. Когда я отредактировал очередной том «Трудов» — это был не первый, а какой-то, я не помню, третий или второй, — вдруг Фигуровский мне сказал: «Вот вашу фамилию из членов редакции нам придется снять». Я говорю: «Почему?» — «Ну, — он говорит, — вы знаете...» Потом, значит, стал плести какую-то околесицу. В общем, «неудобно». «Ну, а что, — я спросил, — думает об этом Хачатур Сергеевич?» — «А Хачатур Сергеевич думает то же самое, что я». Я сказал: «Ладно, посмотрим». А в это время проходило общее собрание Академии наук. Тогда на общее собрание Академии наук было гораздо проще попасть, чем сегодня, гораздо проще. Это было в Доме ученых. Вот шло это самое собрание, и во время перерыва я подошел к Сергею Ивановичу и сказал: «А вы знаете, Сергей Иванович, забавная история». — «Ну, какая?» Я вот ему рассказал, что, «вот, я отредактировал том „Трудов“, а теперь меня из списка редакции исключают. Ну, правда, согласны оставить меня на обороте как одного из редакторов, но не в составе редакции». «Да? — он сказал. — Хорошо, я поговорю».

Через день в институте ко мне подходит Коштоянц, или, вернее, зовет меня Коштоянц, и говорит: «Адольф Павлович, ну зачем вам нужно было обращаться к Сергею Ивановичу? Вы бы сказали мне, я бы немедленно все уладил. Ведь дело-то совершенно очевидное». Я сказал, что, «Хачатур Сергеевич, я тоже думаю, что дело совершенно очень очевидное, и я очень рад, что все уладилось, но Николай Александрович Фигуровский сказал мне, что он согласовал все с вами». На это я никакого ответа не получил. Вот это характеризовало Сергея Ивановича, как мне кажется, как человека благородного и принципиального, потому что в данном случае поведение и Фигуровского, и Коштоянца было отнюдь не принципиальным. Ну, Коштоянц скончался, мир праху его, тем не менее дело обстояло так.

Я вообще был задиристый немножко. Я помню одно заседание ученого совета, на котором я позволил себе в адрес Коштоянца сказать следующее. Дело в том, что Коштоянц прибегал на несколько минут обычно, срочно звонил домой, расспрашивал, что там делается дома, не забыли ли купить яйца, еще что-то такое, очень не относящееся к науке, потом немножко говорил — и исчезал. Вот, и на одном из заседаний ученого совета я себе позволил такое замечание, что я вообще не понимаю, как можно руководить институтом по телефону (потому что все-таки звонить в институт он звонил). Это было зафиксировано, и, вероятно, это запомнилось. Ну, не знаю. Человек умер — мир праху его.

О Лазаре Ароновиче Люстернике

Мне приходилось встречаться, конечно, с довольно большим количеством людей, с одними знакомиться ближе, с другими — более поверхностно. Ну, вот одним из таких поверхностных знакомств, о котором мне сейчас хочется вспомнить, было знакомство с Лазарем Ароновичем Люстерником, недавно скончавшимся, сравнительно недавно скончавшимся, крупным математиком, членом-корреспондентом

нашей большой Академии. Я впервые встретил его в 1925-м, вероятно, году. Дело в том, что в рамках Коммунистической академии, которая потом, в 36-м году, слилась с большой Академией, существовала Ассоциация естествознания. Руководителем Ассоциации естествознания был Отто Юльевич Шмидт.

В.Т.: Вы знали его, да?

А.Ю.: Я его знал, конечно, да. И в составе ее было два молодых математика: Лазарь Аронович Люстерник и Люциан Михайлович Лихтенбаум. Лихтенбаум был очень остроумный, интересный человек, хорошо знавший многих поэтов, он был тополог по специальности, с ним было интересно побеседовать. Большим математиком он не стал, он и не был им. Впоследствии он был профессором какого-то высшего технического учебного заведения. Как-то я его встречал впоследствии на улице раза два. В общем, жизнь его складывалась не слишком сладко и шла карьера его не слишком гладко — ну, без таких потрясений, но, в общем, не продвинулся он. Ну, Люстерник — это была совершенно другая величина, но они тогда очень дружили. И Гельфонд, мой давнишний друг, ходил туда же.



Лазарь Аронович Люстерник

Там было очень интересно, потому что при этой Ассоциации естествознания был создан математический семинар, которым руководил тогдашний профессор университета Александр Яковлевич Хинчин, впоследствии член-корреспондент Академии наук. Этот математический семинар занимался проблемами, смежными между математикой, логикой и философией, — методологическими основами математики. А время это в данной области было беспокойное, потому что в среде специалистов, занимавшихся проблемами оснований математики, шли ожесточенные дискуссии. Была школа формалистическая во главе со знаменитейшим Гильбертом, была школа так называемых логицистов, которую возглавлял Рассел, известный впоследствии как политический деятель также, и была школа интуиционистов, которой начало положил Брауэр, но которая особенно хорошо была известна по популяризовавшим ее статьям

Германа Вейля. Это были все разные точки зрения на основания математики, на аксиоматику, на основные понятия, на проблему бесконечного. Вот, с этим связаны были интенсивные работы в области математической логики.

Пропуск в записи. Комментарий В.Ф. Тейдер: Дальнейшая запись некачественная, поскольку батарейки резко сели, но мы решили сохранить эту запись с целью сохранения самого текста записи и дальнейшего перевода этого текста на бумагу.

...как я сказал, Хинчин, и там выступали с докладами разные ученые. И доклады были и по истории математики, и по методологическим вопросам, и по чисто логическим вопросам. Туда ходило много народу, набивалась большая аудитория. Так же, как физиков в то время волновала, скажем, теория относительности, так вот математиков, московских особенно, волновали проблемы обоснования и вот эти споры. Ну, стоял также вопрос о том, какова должна быть позиция марксистов в данном случае, потому что марксизм есть все-таки и философское учение, и, значит, в какой-то мере это, естественно, привлекало внимание философов, знавших математику, в частности Софьи Александровны Яновской. Я никогда там с докладами не выступал, нет-нет, я только бывал среди слушателей. Я слушал доклады и Яновской, и Выгодского, и Игоря Владимировича Арнольда, ныне покойного, и Андрея Николаевича Колмогорова, и Александра Яковлевича Хинчина, многие-многие другие. Некоторые доклады касались вопросов оснований теории вероятностей, что особенно интересовало Хинчина. Это был очень интересный семинар, и результаты его деятельности нашли некоторое отражение в печати: появилась, по-моему, одна или две статьи Хинчина, или что-то в этом духе, – около двух статей, мне кажется. Ну, и вообще семинар сыграл видную тогда роль в своей области.

Ну, организационной, так сказать, силой там были вот Люстерник и Лихтенбаум, тогда еще молодые. Мы встречались тогда довольно часто, я не слишком был перегружен лекциями, которые должен был бы слушать и которые мало слушал, или упражнениями в университете. Я приходил, и мы болтали. Люстерник был чрезвычайно остроумен, он очень хорошо писал пародии стихотворные, великолепно, и послушать его было одно удовольствие. Перед тем оба они работали в Институте имени Тимирязева — не в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а в таком Биологическом институте имени Тимирязева, который помещался на Пятницкой улице, сорок восемь (не знаю, как теперь эта улица называется — может, по-прежнему, может, иначе), в Замоскворечье, где заместителем директора был Аркадий Климентьевич Тимирязев, сын знаменитого ботаника, сам физик, профессор физики Московского университета, и физик, интересовавшийся вопросами философии. Тимирязев, кстати, был одним из ярых противников теории относительности Эйнштейна.

Вот одно стихотворение Люстерника — к сожалению, я не помню его наизусть — было посвящено как раз тем нападкам на теорию относительности, которые исходили из недр окружения Аркадия Климентьевича Тимирязева, у которого раньше Люстерник работал. Это стихотворение, довольно длинное, было написано на манер пушкинского «Как ныне собирается вещей Олег / Отмстить неразумным хазарам...» Так там что-то, вот я не помню, кто, но «Как ныне собирается та-та-та-та / Отмстить неразумным Эйнштейнам...», и так далее. В общем, это было превосходно. К сожалению, когда я много лет спустя просил Лазаря Ароновича вспомнить текст этой пародии, он не помнил его наизусть, и, очевидно, нигде это у него не осталось.

Вот, значит, происходили встречи с ними. Надо сказать, что они проявляли, действительно, большую активность научно-организационную, и, в частности, они тогда, пользуясь тем, что во главе Ассоциации стоял Шмидт с его огромными связями и возможностями, составили для своего кабинета, что ли, великолепную математическую библиотеку. Я не знаю, что с ней потом случилось, когда математика из системы Комакадемии полностью вышла. Лично в моей судьбе это сыграло тоже некоторую роль, потому что к Люстернику и к Лихтенбауму обратились с вопросом, кого бы они могли порекомендовать на свои места, освободившиеся в этой самой секции истории и методологии естествознания в Тимирязевском институте, и они спросили Гельфонда и меня, не хотели ли бы мы пойти туда. Мы выразили полное согласие и были зачислены, кажется, на полставки или как младшие научные сотрудники. Там я сделал потом первые свои доклады и так далее.

Ну вот, значит, там состоялось это знакомство, которое привело к тому, что я попал в среду все-таки историков науки. Правда, они были все настроены очень антиэйнштейниански, все тамошние деятели, но это меня мало волновало, потому что я математик. Кроме того, они допускали какие-то серьезные философские ошибки, это было гнездо так называемого механицизма, и с ними боролась группа, которой руководил в то время Абрам Моисеевич Деборин, впоследствии академик. Значит, он их громил как механицистов — потом его разгромили как, кажется, меньшевистствующего идеалиста или что-то в этом духе, я не помню точно. Во всяком случае, там была какая-то оживленнейшая дискуссия в помещении РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских общественных наук.

В.Т.: ...институтов общественных наук.

А.Ю.: Да. Я ходил на эту дискуссию, я там слышал выступления Любовь Исааковны Аксельрод (Ортодокс), и Абрама Моисеевича Деборина, и Карева, который потом погиб, по-видимому, безвинно, и многих других. Все это было довольно занятно, но все-таки от меня далеко. Но, главное, я там смог заниматься историей математики. Вот. А кроме того, они меня спросили, не взялся ли бы я за перевод сборника статей по интуиционизму — Вейля и Брауэра. Я за это дело взялся. Ну, судьба этого перевода была двойственная. Часть его увидела свет, но уже позже, в 1934 году, под названием: Герман Вейль, «О философии математики». Там два предисловия: одно — мое, другое написано было Софьей Александровной Яновской. А часть статей Брауэра как слишком специальных решили все-таки не печатать.

Это были мои первые встречи с Лазарем Ароновичем. А после этого я с ним встречался от раза к разу, всегда так любезно, вежливо, но особой близости между нами не было. Тем не менее все-таки иногда бывали и деловые разговоры, контакты. Дело в том, что у Лазаря Ароновича был живой интерес к истории математики, и специально он занимался историей Московского университета. А я тоже этим занимался, как я вам рассказывал. Но только я занимался ранним периодом, а его интересовало гораздо более позднее время — его интересовала как раз та пора, когда расцветала Лузитания, он принадлежал к этой самой Лузитании. И в «Успехах математических наук» он опубликовал довольно большое количество заметок и статей вместе с сотрудниками, которые ему помогали. Одно время он делал так: он собирал у всех знакомых, что они помнят, просил их прислать в письменном виде. Потом он их компоновал и <нрзб>: «А вот что вспоминает о том времени такой-то и такой-то». Он обращался и ко мне, мои воспоминания попали кусочками в собрание воспоминаний. Так что вот такие встречи были.

Пропуск в записи. Комментарий В.Ф. Тейдер: Адольф Павлович рассказывает о своих встречах с Лазарем Ароновичем Люстерником. О воспоминаниях, которые написал Люстерник и передал в издательство Московского университета. К сожалению, до сих пор о судьбе этих воспоминаний ничего не известно. В сборнике «Историко-математические исследования» (выпуск 27-й), которые должны выйти в 1983 году, видимо, в конце, буда опубликована шутливая поэма Лазаря Ароновича Люстерника о своих юношеских и студенческих годах. Там же должны быть опубликованы воспоминания Меньшова Дмитрия Евгеньевича, которые он наговорил на магнитофон и впоследствии передал Юшкевичу Адольфу Павловичу, который, отредактировав эти воспоминания, поместил их в этом же сборнике «Историко-математические исследования» (выпуск 27-й). Об этом шла речь в той части беседы, которая, к сожалению, не вошла на пленку. Помимо этого Адольф Павлович рассказывал немного о Лузитании и значении Лузина как математика и организатора Московской математической школы. Затем немного об академике Лаврентьеве и организации международного юбилея математика Эйлера, который проходил в апреле 1957 года в Ленинграде. В заключение беседы шла речь об истории некоторых материалов, помещенных в этот же выпуск «Историко-математических исследований» (выпуск 27-й), в частности о двух выступлениях математиков на международной конференции, посвященной юбилею Эйлера.

Вот Лузин рекомендовал Клейну этих своих молодых учеников, просил им оказать всякое содействие. Тут начались контакты московской школы, москвичей вообще с Геттингеном, которые продолжались вплоть до мрачных лет, когда к власти пришли нацисты и уничтожили, по существу, геттингенскую школу Феликса Клейна и Гильберта. Вот. (Перерыв в записи.)

...крупные ученые, чем я, чрезвычайно высоко ценили деятельность Николая Николаевича Лузина.

Вы начинаете записывать?

В.Т.: Ну, да.

А.Ю.: Да, ну, пишите. Дело в том, что я сказал, что Лузин был очень сложной фигурой и в некотором смысле — трагической фигурой. Дело было в следующем. Лузин, сам математик талантливый... ну, я не знаю, какого класса, ну, он был не идеальный [?] человек, но это был человек большого таланта... Лузин, человек весьма талантливый, был совершенно исключительным учителем, то есть воспитателем молодых ученых, я имею в виду. Он их заражал своим энтузиазмом, он совершенно переменял стиль обращения профессора со студентами, он был доступен, он держал себя, ну, как равный или как первый, но среди равных; к нему можно было всегда прийти, его провожали гурьбой после лекции до дому, он рассказывал, он ставил задачи, он ставил вопросы, он с удовольствием читал работы их, он представлял их для публикации, в «Доклады Парижской Академии наук» сперва, потом — в другие места. Он рекомендовал их, значит, геттингенским математикам (он сам перед этим лет за десять был в Геттингене и провел там около года или полутора лет) и так далее, и так далее. В общем, это был человек, который умел очаровывать. Он умел очаровывать, но он мог и разочаровывать. Дело в том, что тематика, которой он занимался, сама по себе очень важная и интересная, была все-таки ограниченной — теория функций действительного переменного в том направлении, которое разрабатывал он, — и складывалось дело так, что целый ряд молодых ученых, не чувствуя уже интереса к проблематике, казалось бы, в основном изученной и малоперспективной, во всяком случае, с трудом поддающейся дальнейшей глубокой разработке, переходили на другие темы. Школа, которую они получали у Лузина, в высшей степени содействовала их занятиям в другой области. Они получали великолепные навыки для последующего творчества: и технические средства, и разработка интуиции математической. Они были готовы заняться многим другим. Вот они выходили из-под его, так сказать, влияния, из сферы его влияния, и постепенно его ученики создавали собственные школы. Вот Павел Сергеевич Александров и Павел Самуилович Урысон, два друга, — они ушли в топологию, Александр Яковлевич Хинчин, его ученик был тоже, — он ушел в основном в теорию вероятностей, понимаете ли, другие уходили в теорию дифференциальных уравнений, и так далее, и так далее, и так далее.

” И вот трагедия его заключалась в том, что постепенно близ него оставались лишь очень немногие, верные, так сказать, ему и математике люди.

Ну, они шли дальше, но... Такой был Дмитрий Евгеньевич Меньшов: он шел все в том же направлении, правда, далеко и глубоко, в одной специальной области — теории тригонометрических рядов и ортогональных рядов. Или была такая Нина Карловна Бари, одна из самых талантливых женщин-математиков, — она тоже занималась близкой к Меньшову тематикой и оставалась в ее пределах. А иные уходили. Вот Лаврентьев, Михаил Алексеевич, будущий академик, — он перешел на прикладную тематику в значительной мере, сначала занялся некоторыми проблемами теории аналитических функций, потом он перешел просто к вопросам прикладной математики, математической физики, и, конечно, Лузину обязан многим, но он уже от него отошел. И вот в этом была большая трагедия личная Лузина.

Я не говорю о той трагедии, которую он испытал лично, потому что в середине 30-х годов ему был предъявлен ряд сильных обвинений, и идеологических обвинений, в том, что он ударился в идеализм, и в его взаимоотношениях с зарубежными математиками, что он занялся низкопоклонством, и в его фарисействе как педагога. И, в общем, он с трудом уцелел в составе Академии наук. Это, конечно, была его уже персональная драма. Причины всего, что происходило, мне неизвестны, и, сколько я ни пытался их выяснить, расспрашивая других людей, которые были более знакомы, я ничего выяснить толкового для себя не мог. Ну, вы представляете, что у нас бывали периоды, когда начинались гонения на того или иного, скажем, генетика, да, или на какого-нибудь лингвиста. Вот с Лузиным было нечто аналогичное, только оно не зашло так далеко. В общем, ему было тягостно, ему было тягостно. Это была одна тяжесть, а распад его школы начался гораздо раньше. *(Пропуск в записи.)*



Николай Николаевич Лузин

Вообще, с точки зрения развития математики в нашей стране, он сыграл в высшей степени положительную роль. Ведь у нас было не так уж много больших центров. Один центр большой был в Петербурге, потом Петрограде, Ленинграде, это была чебышёвская школа, очень такого прикладного направления, я бы сказал. Ну, конечно, глубокие и теоретические результаты, но прикладного направления и очень далекая от новых течений математической мысли западных стран. (*Пропуск в записи.*) Ну, и московская школа, которую основывали преимущественно Егоров и его ученик Лузин.

Пропуск в записи. Комментарий В.Ф. Тейдер: В связи с тем, что батарейки работали очень плохо на «Сони», запись очень некачественная, но конец записи, где речь идет о Лузине и немножечко о юбилее, посвященном Эйлеру математику (юбилей проходил в 1957 году в апреле в Ленинграде), все-таки решили оставить

Список вопросов, им составленный список вопросов, которые частью он задавал ученикам, а частью оставались нерешенными. Из этого видно, как он умел ставить задачи перед своими учениками. Ну, а в математике часто говорят, что правильно или хорошо поставленная задача — это уже половина дела, она наполовину может считаться уже решенной. Он великолепно ставил вопросы. И в этом смысле он был подобен Чебышёву, с которым его в остальном мало что роднило, потому что Чебышёв тоже перед своими учениками вот этой петербургской школы, чебышёвской школы, умел прекрасно ставить проблемы. Да, вот то, что я мог бы сказать о Лузине в целом, но об этом существует целая литература. И надо сказать, что те люди, которые в середине 30-х годов — некоторые искренне, а другие вынужденным образом — выступали тогда против Лузина, потом пришли к правильной оценке его вклада в развитие математики. Вот очень интересная тема для тех, кого это интересует. Очень интересно почитать воспоминания Лаврентьева о Лузине, которые напечатали, они очень живо написаны.

О Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве

Вот что касается Лаврентьева, то я хотел сказать о нем несколько слов. Я мало знал Лаврентьева вообще

до 56-го года, но в 56-м году началась подготовка одного крупного такого юбилея — 250-летия со дня рождения Леонарда Эйлера, самого великого математика XVIII века, родившегося в 1707 году, приехавшего в возрасте двадцати лет в Петербург, ставшего там академиком и после некоторого перерыва, когда он жил в Берлине, вернувшегося снова в Петербург, там умершего, и положившего, собственно, начало научной математике России. Влияние Эйлера было колоссально на развитие математики во всем мире и на развитие математики в России, не столько тем, что он воспитывал как раз, а своей литературной деятельностью: он ставил проблемы, он писал книги, статьи, руководства. Словом, Эйлер был общим учителем математики, как выразился один француз, очень долгое время. И, скажем, представители чебышёвской школы всегда считали, что это они продолжают направление Эйлера. Вот юбилей должен был состояться в 1957 году, было принято соответствующее решение президиума, и был организован комитет по подготовке, организационный комитет, и во главе этого комитета, председателем, был академик Лаврентьев, а ученым секретарем комитета был я. И тогда мне пришлось с ним сталкиваться... ну, не сталкиваться, а встречаться — столкновений как раз не было, была только помощь — многократно и довольно регулярно в течение приблизительно года.



Михаил Алексеевич Лаврентьев

Ну, Лаврентьев был, конечно, очень сильный математик, это само собой разумеется, и великолепный организатор. То, какой он был организатор, показывает сибирское отделение Академии наук, которого он был основателем и долгое время руководителем. Вот, ну, тогда еще о сибирском отделении не было речи, речь шла о гораздо более скромном, но тем не менее довольно таком крупном международном мероприятии, потому что праздновалось это как международного значения, было много приглашенных из-за границы ученых. Состоялось это самое юбилейное торжество в апреле — кажется, в апреле — 1957

года, а в течение приблизительно года шла подготовительная работа. Здесь я смог познакомиться с Лаврентьевым ближе — конечно, с деловой стороны, потому что в домашней обстановке я его не видал. Я сказал, что он был прекрасный организатор, и он был смелый организатор, то есть он охотно брал на себя ответственность, принимал решение и потом проводил его в жизнь. Причем обычно он ни с кем не консультировался, только уж по самым таким важным вопросам. Он принимал решения самостоятельно, очень быстро, и был в этом смысле удивительно четким человеком, в этом отношении работать с ним было одно удовольствие. Все делалось быстро, за несколько минут, потому что все это надо было делать спешно: и связываться с заграницей, и съездить в Берлин, и подготовить поездку нашей делегации в Берлин, и приглашения рассылать, и тексты готовить, и все прочее-прочее-прочее, докладчиков, программу и так далее. Словом, работать было с ним легко. Единственная его несколько неприятная черта была — некоторая резкость. Он не слишком был церемонен в обращении — это не был ни Петровский, ни Вавилов. *(Пропуск в записи.)*

Были приглашены превосходнейшие докладчики, очень компетентные. Были приглашены из-за рубежа очень видные ученые, и через, по-моему, год или два после юбилея был выпущен вот такой толстый сборник «Леонард Эйлер» — сборник статей, составленный Академией наук СССР, к 250-летию со дня рождения, и параллельно вышел в Берлине составленный Академией наук ГДР аналогичный сборник, другого содержания: в нашем сборнике печатались члены берлинской Академии, в их сборнике — наши, были обмены делегациями. Вот таковы были мои встречи с Лаврентьевым в те времена.

Юбилей прошел чрезвычайно интересно, была организована исключительная выставка великолепная в <нрзб> Ломоносова, который существует. Был составлен великолепный альбом, он сохранился. Ну, просто поразительная <нрзб>. Там были составлены географические карты поездок Эйлера по разным странам. Были составлены карты, которые наглядно демонстрировали его переписку с разными научными центрами. Дом, где он жил, а этот дом сохранился, <нрзб>. Была даже такая церемония у надгробия Эйлера, которое к тому времени перенесли с немецкого кладбища <нрзб>. Ну, все это было сделано превосходно. Был великолепный портрет, чрезвычайно интересный. Ну, вы представьте себе, что вот в этом году исполняется двести семьдесят пять лет со дня рождения Эйлера, а в будущем году исполняется двести лет со дня его смерти. *(Пропуск в записи.)*

...то ли в плен, то ли что-то. Он был, по-видимому, офицером австрийской армии. В общем, он был интернирован. А его хорошо знали как математика, и благодаря хлопотам Дмитрия Федоровича Егорова, профессора университета, Серпинский получил разрешение поселиться в Москве. И здесь он познакомился близко с Лузиным и примкнул к Лузитании. Он, правда, был уже взрослый человек, так что его нельзя причислить к прямым ученикам Лузина, но он встретился с Лузиным, занялся близкой проблематикой. Когда вернулся — война кончилась, — он там положил начало математической школе, родственной школе Лузина. Вот как переплетаются судьбы человеческие, свидетелем которых мне довелось быть. *(Пропуск в записи.)*

Это касается Лаврентьева, и это касается Меншова, и это касается Лузина. Следующее. Дело в том, что в 1914 году мой отец решил поехать на некоторое время из Петербурга в Париж, для того чтобы там просто поработать в библиотеках, позаниматься. Он тогда очень интересовался вопросами философии математики. И примерно это было в апреле, что ли, — вся семья двинулась в Париж. Предполагалось там пробыть года полтора. Но, конечно, из этого ничего не вышло, потому что в июле началась война, и надо было возвращаться в Россию, потому что не на что было бы там жить. Он предполагал, мой отец, жить тем, что он будет посылать корреспонденции всякие в журналы, и ему будут присылать деньги, а это совершенно отпадало. Значит, мы вернулись. Это само по себе очень было занятно, я это все хорошо помню, хотя был маленьким, мне было восемь лет. Вот, значит, дело было в том, что мы в Париже жили в некотором отельчике, маленьком отельчике в Латинском квартале, отель назывался «Паризиана», или «Паризьяна», как говорят французы, хозяин его был некий господин Шоммар, а находился он, значит, в двух шагах от Пантеона на улице Турнефор, дом четыре. Это было в 1914 году. Я это время очень хорошо запомнил, очень хорошо запомнил. Но в Париж мне не приходилось ездить, естественно, довольно долго. И впервые я попал в Париж после 1914 года в 1960 году. Это было, выходит, через сорок шесть лет. Это была научно-туристическая поездка. Ну,

на следующий же день после приезда — мы устали, конечно, в первый день, тоже нашагались там немножко, — я сказал, что кто хочет, кто куда, а я пойду в Латинский квартал искать отель Шоммар на улице Турнефор, четыре. И довольно уверенным шагом отправился туда, пошел переулками и туда зашел. Вот, и стал спрашивать хозяина. Ну, хозяина давно нету, он умер, хозяйка давно умерла. «Ну, а может быть, есть кто-нибудь из детей?» Потому что я помню, что там были дети, там был мальчик, он был старше меня, он со мной гулял и играл в саду Люксембургском по соседству, была сестра, с которой я не имел дела, но с ней моя сестра была знакома. В общем, я наткнулся на младшую какую-то сестру. Я ей представился, то есть я ей сказал, что, «вот, много лет назад мне пришлось жить в вашем отеле несколько месяцев». Она мне сказала: «Да, вы знаете, наш отель очень любили приезжие из России ученые, у нас они часто останавливались». Вот. А я об этом немножко слышал. Я спросил, а кого она имеет в виду. Она сказала: «Вот у нас был такой месье Louzine...», Лузин, «со своими учениками. Их было два очень высоких, два очень высоких». Я говорю.: «Кто? Может быть, Меньшов?» — «Да-да, месье Меньшов. Да, и еще был один молодой, такой веселый, интересный, такой приятный. Его звали Мишель, а фамилии я его не помню». Я говорю.: «Может быть, это был Лаврентьев?» — «Да-да-да. Не знаю, Мишель, такой интересный молодой человек, вот приятный, веселый человек». Он веселым остался на всю жизнь. Вот то, что я хотел случайно припомнить еще относительно Лаврентьева.